

редкие образцы *глубокомыслия*, точности в словах, ясности изложения, благородной простоты и вместе красоты в историческом слого. Это зеркало, в котором со *всею* правильностью отражается народный дух. Карамзин оставил отчизне своей залог, которым оно может и должно гордиться; он сделал все, что только мог сделать человек с гением. Если некоторые исторические доводы и ускользнули от его внимания, то не лучше ли по совести поставить на вид сии доводы, последую примеру самого Карамзина, т. е. не расточая никаких язвительных и грубых выходов? <...>

Из старой записной книжки

Карамзин говорил, что если бы отвечать одним словом на вопрос, что делается в России, то пришлось бы сказать: *крадут*. Он был непримиримый враг русского лихоимства, расточительности, как частной, так и казенной. Сам он был не скуп, а бережлив; советовал бережливость друзьям и родственникам своим; желал бы иметь возможность советовать ее и государству. Ничего так не боялся он, как долгов за себя и за казну. Если никогда не бывал он что называется в нужде, то всегда должен был ограничиваться строгою умеренностью, впрочем (как было сказано выше) чуждою скупости: напротив, он всегда держался правила, что если уж нужно сделать покупку, то должно смотреть не на цену, а на качество и покупать что есть лучшее. В первые времена письменной деятельности его, да и позднее, литература наша не была выгодным промыслом. Цены на заработки стояли самые низкие. Журналы, сборники, им издаваемые (*Аониды*⁵ и пр.), не представляли ему большого барыша и едва давали возможность сводить концы с концами. В молодости, в течение двух-трех лет, прибежал он, как к пособию, к карточной коммерческой игре. Играл он умеренно, но с расчетом и с умением. Можно сказать, что до самой кончины своей он не жил на счет казны. Скромная пенсия в 2000 рублей ассигнациями, выдаваемая историографу, не была для казны обременительна. Впоследствии времени близкие отношения к Императору Александру, милостивое дружеское внимание, оказываемое ему монархом, не изменили этого скромного положения. В сношениях своих с государем он дорожил своей нравственной независимостью, так сказать, боялся утратить и за-

тронуть своей бескорыстной преданности и признательности. Он страшился благодарности вещественной и обязательной. Можно подумать, что и государь, с обычно ему мечтательностью, не хотел придать сношениям своим с Карамзиным характер официальный, характер относительности Государя к подданному. Впрочем, приближенные к императору Александру замечали не раз, что он не имел ясного понятия о ценности денег: иногда вспоможение миллионом рублей частному лицу не казалось ему чрезвычайным; в другое время он задумывался над выдачею суммы незначительной. Карамзин за себя не просил, другие также не просили за него, и государь, хотя и довольно частый свидетель скромного домашнего быта его, мог и не догадываться, что Карамзин не пользуется даже и посредственным довольством. Как уже сказано, Карамзин заботился не о себе. Но в меланхолическом настроении духа, к которому склонен он был даже и во дни относительного счастья, не мог он внутренне не думать с грустью о том, что не успел он обеспечить материально участь довольно многочисленного и нежно и горячо любимого им семейства. Провидение, в которое он покорно и безгранично веровал, оправдало эту веру и между тем поберегло бескорыстие и добросовестность его. Пока бодрствовал он духом и телом, обстоятельства не искушали его и не приводили в опасение быть в противоречии с самим собою. Только на смертном одре и за несколько часов до кончины получил он поистине царскую награду, возмездие за чистую и доблестную жизнь, за долгую и полезную деятельность и за заслуги его пред отечеством. Это была, так сказать, за живо, но уже посмертная награда. Оказал ее не император Александр, а в память его достойный и великодушный преемник его. Глубоко, умилительно растроганный подобною милостию, Карамзин оставался верен правилам и убеждениям своим: он находил, что милость чрезмерна и превышает заслуги его. Последние строки, написанные его ослабевшею и уже остывающею рукою, рукою, которая некогда так деятельно и бодро служила ему, были выражением глубокой благодарности тому, который прояснил предсмертные часы его. Он умирал спокойно, зная, что участь детей его обеспечена.

* * *

Трудно найти в истории личность более величественную, сочувственную и во многом более загадочную, чем личность Александра. Но для исследования подобного характера нужны

свойства ума высокого и беспристрастного, нужна психическая проницательность глубокого сердца. <...>

Подобный труд мог бы совершить Карамзин. Он всегда желал и надеялся, по доведении истории своей до воцарения дома Романовых, окинуть взором новейшую нашу историю до наших дней в сжатом, но полном очерке. Смерть не позволила ему достигнуть и первой грани предпринятого им труда. Он был под очарованием высоких и любезных свойств Александра, но он не был им ослеплен. Он судил его и не скрывал от него суда своего. Он говорил ему смелую правду прямо в глаза. К тому ж Государь, которому приписывали некоторую скрытность, был, по всем вероятностям и многим свидетельствам, более откровенен с Карамзиным, чем с другими. Карамзин, и по обстоятельствам, и по характеру своему, всегда находился пред ним в независимом положении. Сношения царя и подданного могли быть и были нравственно свободны и бескорыстны. <...>

Поздняя редакция статьи «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина»

...Карамзин, *не мудрствуя лукаво*, провел русскую историю широкими путями Провидения. Многие, которым показалось, что этот способ слишком прост, селятся провести ее сквозь иглиные уши⁶ особых систем. В молодежи эти попытки понятны. Самонадеянность и алчность новизны неизменные, а в некотором отношении и похвальные свойства молодого поколения в деле жизни и науки. Узнав, что Пушкин пишет в деревне своей трагедию «Борис Годунов», я просил его сказать мне несколько слов о плане, который он предназначтал себе. «Мой план, — отвечал он, — весь находится в X и XI томах «Истории» Карамзина». Почти то же сказал он и в посвящении труда своего памяти историографа⁷. Некоторые критики ставят ему это в порок. Мы находим в этом новое свидетельство зрелости и ясности поэтических понятий Пушкина. Если кто спросил бы Карамзина, когда готовился он писать «Историю», какому плану намерен он следовать, он мог бы отвечать с таким же чистосердечием и глубокою мудростью: «Мой план весь в событиях». Ныне пользуются событиями, чтобы изнасильничать их: так поступают